

Вспоминая Африкана Спира.

Воспоминания об Африкане Александровиче Шпире, философе, уроженце Херсонской губернии.

От редакции.

Хотя личность А. А. Шпира, воспоминаниям о которой мы уделяем место в нашем журнале, не принадлежит происхождением своим к исконным обитателям Малороссии, да и по своей научной и общественной деятельности совсем почти не касается вопросов, связанных с жизнью нашего юга России, - однако мы считаем небезинтересным для читателя представить несколько страничек из жизни этого философа, имя которого известно, главным образом, в немецкой философии, а воспоминания о нем живы до сих пор в пределах елисаветградского уезда. Среди многих своеобразно-оригинальных черт, личность эта носила в себе некоторые особенности, роднившие ее с местной жизнью, как например любовь к народу и народной малорусской поэзии. Первая сказалась в том факте, что он по своей инициативе отпустил на волю крепостных людей, сравнительно задолго до манифеста 19 февраля 1861 года, вторая же обнаружила себя в увлечениях народными песнями, сказками и рассказами, а также чтением произведений Шевченка, Стороженка и др. Вот это-то и дает нам право занести данные воспоминания на страницы „Киевской Старины“. Но чтобы читатель имел хотя маленькое представление о научных заслугах А. Шпира в области философии, мы приводим целиком текст в переводе на русский язык из известного сочинения "Ueberweg. Grnndriss der Geschichte der Philosophie" (3-я часть, стр. 452, изд. 1888 г.).

А. Шпир, исходя из логико-метафизических соображений, родственных Гербаатовским, приходит к доктрине близкой к парменидовской. (Его сочинения: Die Wahrheit. Lpz. 1867. Andeutungen zu einem widerspruchsl. Denken. Lpz. 1868. Forschung nach d. Gewissh in der Erkenntniss der Wirklichkeit. Lpz. 1868. Kurze Darst. der Grundzuge einer philos. Anschau-ungsweise. Lpz. 1869. Erorterung einer philos. Grundeinsicht. Lpz. 1869. Kleine Schriften. Lpz. 1870. Denken u. Wirklichkeit, Versuch einer Erneuerung d. Kritischen Philosophie. Lpz. 1873, 2-е изд. 1877. Moralitatu. Religion, Lpz. 1874, 2-е изд. 1878. Empirie u. Philosophie. Lpz. 1876. Vier Grundfragen, Lpz. 1880. Studien, Lpz. 1883. Gesammelte Schriften, 3 Bde., Lpz. 1883-1885).

Высшим, непосредственно достоверным основоположением, незаимствуемым из опыта, Шпир считает положение тождества, формулируемое следующим образом: „каждая вещь по своему собственному существу сама с собой тождественна“. Общая предпосылка из опыта заключается в том, что опыт не содержит ни одного предмета, который был бы вполне тождественен с самим собою. Отсюда он делает тот общий вывод, что положение тождества не заимствуется из опыта, а что скорее оно выражает понятие о сущности вещей, которое нашему мышлению присуще a priori; далее, что собственная сущность вещей лежит по ту сторону опыта и, наконец, что опыт изображает вещи не так, как они суть сами по себе, по их собственной сущности, и что опыт содержит элементы, которые не принадлежат собственной сущности вещей. С онтологической стороны вытекают специальные следствия, состоящие в том, что в действительности существует только одна субстанция, что собственная сущность вещей безусловна, не может содержать в себе никакой относительности, что она постоянна, неизменна и совершенна. (О философии Шпира см. Spir u. d. Bedent, seiner Philos. f. d. Gegenwart. Votr., Lpz. 1881).

Наконец, милая Елен, я собрался с помощью одного моего знакомого, заинтересованного личностью покойного отца твоего, приняться за биографию Африкана Александровича Шпира. Но полагаю, что для людей науки интересно будет знать происхождение его. Думаю сказать кое-что об его отце, матери и более отдаленных предках, так как отец его заслуживал внимашия, как человек выдававшийся своим умом и оригинальностью. Помню я еще в детстве, как окружающие меня родные говорили много интересного об его отце, происхождение которого никому не было известно, даже, кажется, его семье. Известно только, что он был доктор медицины и хирургии, что воспитание начал и окончил в С.-Петербурге, что он был послан правительством в Сибирь с научной целью, преимущественно для исследования сифилиса, провел несколько лет на Камчатке, по возвращении откуда был назначен инспектором врачебной управы в г. Херсоне, где и имел

возможность и случай познакомиться с родными и матерью покойного Африкана Александровича. Предполагали и думали, что он или родители его выходцы из Австрии, что отец его - еврей, принявший православие. Говорил он чистым русским языком с петербургским акцентом. Я помню его, когда ему было лет 50. Он был человек энергичный, живой, скуп до болезненного состояния и сварлив. Наружный вид его чрезвычайно напоминал портрет нашего знаменитого полководца Суворова (маленький, худенький), которому не уступал своими чудачествами. Так напр., никогда он не употреблял носового платка и говорил, что это лишний расход. Он удивлялся, как можно такую гадость прятать в карман человеку воспитанному. Он всегда, ходил в куртке, (для сокращения расходов на фалды), в узких и коротких панталонах. Лето и зиму на дворе и в комнате поверх сапог всегда носил калоши, в виду того, что они сберегают сапоги и сами стоят дешевле сапог. Семьянин был невозможный. Редко жил дома. Проживет много месяц-два, разгорится с женой, с её родными и соседями, запрягает тарантас и уезжает часто на целый год. Но как уезжает? Предварительно велит изготовить массу пильменей (зимой он их заморозит, летом засушит) и отправляется по направлению в Петербург. Часто по дороге он останавливается у знакомых и гостит у них месяцы. Раз у бабушки Завадовской, отъехав от дому только 20 верст, он прожил целый год, потому что жизнь в гостях, кормежка лошадей, кучера ничего не стоит. Где нет приюта, он ставил самовар, разводил кипятком пильмени и этим питался. Чай пил всегда в прикуску и оставшиеся кусочки прятал в карманы и привозил детям, как гостинцы, тем детям, у которых была полная чаша, и которые были избалованы матерью до нельзя. Женившись, он оставил службу и прожил остальные годы своей жизни в имении жены своей, урожденной Пулевич, в Херсонской губернии тогда Ольвиопольском, потом Бобринецком, теперь Елисаветградском уезде, деревне Аристарховке, где в числе других детей родился у него и Африкан Александрович. Все дети, за исключением Африкана Александровича, были чрезвычайно способны, но не отличались нравственными качествами. Часто, по возвращении домой, если это было летом, любимым его занятием было ходить по комнатам с хлопучкой в руках и бить мух. Так как окна по его распоряжению всегда должны были быть открыты, то мух налетало гибель, и охота на них предстояла блестящая. Во время битья мух он часто бил стекла окон, посуду, после чего сердился на семью за то, что надо было покупать вместо разбитых новые вещи. Только крайняя непогода заставляла его быть в комнатах. Большею часию он днем и ночью, летом и зимой жил на дворе. Имея на первом плане в виду для здоровья человека воздух и моцион, он в непогоду проделывал для моциона в комнате пресмешные для постороннего зрителя движения, напр.: танцевал, напевая комаринского и т. д. Зимой он тоже спал на дворе, под навесом, для чего у него был сделан овчинный меховой мешок, в который он влезал весь и завязывался около шеи. На голову надевал во время сна меховую шапку с наушниками и затыльником, так что оставался незакрытым только нос. Часто после снежных ночей прислуга должна была его откапывать из-под снега и вносить в комнату для дальнейшего туалета. Официально был он православного исповедания, но по убеждениям он был атеист в полном смысле слова. Говорили, что была у него сестра замужем в Москве за доктором Белопольским. Всем без исключения говорил „ты" (он был в чине статского советника). Был популярен как врач в г. Николаеве, куда его часто выписывали. Когда его призывал к себе больной, прося помочь ему, то осмотрев больного, если видел, что ему нельзя помочь, он обыкновенно говорил: „терпи, лежи и молись", - а родным говорил, что ничего нет вечного в мире, и затем уезжал. Если же он видел, что ему можно помочь, то обыкновенно первым его вопросом было: можешь заплатить 100 руб., буду лечить, если не можешь, не буду. Если больной не мог платить, он уезжал. Если платил, он принимался за оригинальное лечение. В то время когда медицина держала больного на строгой диете, лишала его воздуха, заставляла лежать в постели, оберегала от воздуха, пищи, он прежде всего позволял больному есть все, что ему угодно, говоря, что больше, чем нужно, он не съест; в помещении больного велел отворять окна; если не соглашались, он собственноручно выбивал окна, хотя бы зимой, но укутывая хорошо больного, ставил клизмы, допускал в известных случаях хинин, шептания и растирания бабок, говоря, „ну и пусть себе бормочет, а ты уснешь". Вообще он был того мнения, что эти средства вреда не принесут, а помочь могут. Если больной был недоволен тем, что доктор не прописывал лекарств, он говорил: „ну если хочешь, я тебе пропишу"- и прописывал, и то если он был в хорошем расположении духа. В противном случае только выругает больного. Если больной страдал ревматизмом, лежал один-два года в постели, первым долгом он говорил: ходи! - Не могу! - Врешь. Берите его, тащите! И часто в месяц-два человек начинал ходить; затем он велел запрягать экипаж и возить таких больных по степи. С родных за лечение денег не брал. С отцом моим часто

спорил. Он был прямой, дерзкий человек и ссорился. В царствование Николая Павловича он преподнес государю том своих сочинений, находящейся теперь у его внуки, дочери Африкана Александровича. Сначала это сочинение приобрело популярность в России, но впоследствии выпуск его был запрещен по многим причинам: вследствие козней светил медицины тогдашнего времени, так как он в своем сочинении: а) говорил, что метод лечения, практикуемый теперь, приносит человечеству больше вреда, чем пользы; б) что деятели медицины поставлены в положение привилегированных разбойников, так как они, не давая никому отчета, заливают больных средствами, приносящими больше вреда, чем пользы.

Мне, повествователю настоящей биографии, 58 лет. Помню в детстве, когда мне было лет 10, Александр Александрович Шпир для одного из своих путешествий велел запретить свой заветный тарантас. Не проехав 3-х верст, лошади понесли и опрокинули тарантас, и нашему путешественнику было переломлено ребро. Кучер привез его обратно. Жена хотела послать за врачом. Но больной не хотел, а распорядился послать в ближайшее село за фельдшером, которому указал, как сделать перевязку, как уложить себя в постель, велел вынести себя с постелью и поставить посреди двора (дело было летом). Только в непогоду его вносили в дом, но и в этом положении человек этот не мог долго быть на месте и приказывал крепостным людям носить его с кроватью к родственникам и знакомым, часто на расстояние верст 15, где также ставили его среди двора и для спокойствия его приставляли поочередно сиделку, или сидельца для исполнения его требований, а главное для того, чтобы „махать мух“, как выражались тогда. Когда больному надоело лежать на одном месте, он велел себя переносить на другое - к другим соседям. „Вот уже несут к нам Шпира“... - говорили, и все трепетало, потому что он распорядился везде, как дома. Крикун был и не стесняясь говорил бывало: „что ты, дурак, мне перечишь?“ Это снисхождение со стороны всех происходило, как я думаю, от бывшего у всех сознания его умственного превосходства.

Скажем еще несколько слов о кончине его и тем покончим. Кончина его произошла, как думали близкие люди, вследствие воспаления мочевого пузыря. Это было в глубокой старости. „Старый Шпир заболел,“ - говорили. На вопрос жены: „что у тебя болит“, он отвечал: „пузырь болит“. Жена предлагала послать за врачом; он ответил: „не надо! все равно ничего не поможет“. Когда жена просила его послать за священником, чтоб исполнить обряд христианский, он отвечал: „не надо! нет Бога, нет правды, нет правосудия!“ Так и скончался. Такое сильное было убеждение у человека, ни за что не хотел...

Теперь приступим к описанию происхождения матери Африкана Александровича Шпира. В царствование императрицы Екатерины, когда она покровительствовала Греции и переселению славян из Австрии в Россию, был из г. Салоник вызван грек по фамилии Лошно, который и был назначен таможенным директором в Новороссийском крае и жил с семейством своим в городе Херсоне. Одна из дочерей его Сусанна Константиновна была выдана замуж за выходца славянина из Венгрии, секунд-майора, служившего в армии императрицы Марии-Терезии, Константина Пуловица, впоследствии переименованного фамилию на русскую Пулевич. Мать Африкана Александровича, Елена Шпир, была дочь этих супругов Пуловица-Пулевичей. Прожила она 62 года. Обладала она здравым умом и была очень доброй, великодушной, мягкой, всеми в окружности уважаемой женщиной. Вышла она замуж за Шпира, покорясь желанию родителей. Наружность имела чрезвычайно приятную, симпатичную, с греческим типом, с матовым цветом кожи.

Теперь перейдем к детству Африкана Александровича. Помню я его с 10 лет его жизни. Это был мальчик очень красивый, с круглым лицом, ярким румянцем, черными, как смоль, курчавыми волосами, черными, буквально сверкающими, как уголь, подвижными глазами. Впоследствии глаза его сделались почти тусклыми. До 15-летнего возраста он был чрезвычайно живой, дерзкий, не любил играть с детьми своего возраста и буквально ненавидел женский пол - избегал его. Помню, еще в детстве все окружающие родителей завидовали прекрасным, блестящим способностям Африкана Александровича и ставили его в пример своим детям. Впоследствии, будучи уже взрослым человеком, он говорил мне: „что раз попадало в мою голову, оно уже никогда не выходило из неё“. Читать и писать, как обыкновенно в то время, выучился дома.

Первое систематическое образование он начал получать в Одессе, в частном пансионе француза, где имел возможность хорошо изучить французский язык. Потом он поступил в одесскую классическую гимназию, которую и окончил блестящим образом. Приезжая на каникулы, он не дружил со своими многочисленными двоюродными братьями, близко от него жившими. Когда мы, бывало, общались с ним, то не находили, как мы, так и он, удовольствия в наших разговорах, так как он стоял выше нас. В то время как мы играли, шалили, он углублялся в чтение какой-либо книги. Когда он окончил гимназию и приехал на жительство к матери, приезжая часто в гости к нам, в наше семейство, вместо того чтобы общаться с двоюродными братьями, он спешил отправляться в сад и заходил в курень старика-пасишныка Васыля Роскыданюка, грамотного человека, почти постоянно читавшего в своем жилище священного содержания книги. Там он по несколько часов беседовал с пасечником; когда бывало вспомнят, где же Африкан?, - „чудак" наверно беседует „з дидом Васылем". „Вот чудак, говорили про него, и находит же удовольствие беседовать с дидом Васылем про какую-то ерунду". Всем казалось это ужасно смешным. Не будем ли мы иметь право думать, что это был первый повод, или толчек уму его и в природном нраве таившейся склонности к мышлению о философии? Не была ли это первая искра пламени, впоследствии столь ярко разгоревшегося? Так, мы увидим впоследствии, что подобного рода столкновения давали ему новые и новые толчки.

Наконец пришло время матери подумать, как пристроить сына, т. е. подыскать ему службу; начал подумывать об этом и он сам. И так как в это время он уже сделался более общительным со своими сверстниками - двоюродными братьями, то часто у нас происходили разговоры: какую избрать себе жизненную дорогу? Почему-то он выражал свое желание быть артиллеристом. Но палить из пушек, как видно, ему не было суждено. Мать его - религиозная женщина, выписывала духовный журнал, где помещались проповеди одесского архиерея Иннокентия. Юноша настолько увлекся его проповедями, что начал строго соблюдать посты, чаще и больше молиться, давать бедным милостыню, так что среди родных даже начали поговаривать: „Африкан хочет поступить в монахи", что очень печалило мать его. В этот период его жизни загоралась крымская война. И как в нашем семействе было много моряков, то наши родители и его мать задумали подготовить нас и его в моряки, для чего требовалась специальная подготовка. Его и нас 3-х братьев отвезли в город Ниволаев, где в то время существовал пансион Акимова; тут то и готовили в гардемарини. Мы были помещены пансионерами, а Африкан Александрович приходившим, почему мать и поместила его вблизи пансиона у учителя истории и русского языка Илькевича. Здесь к нему был приставлен в виде дядьки старик, бывший когда-то швейцаром у князя Жевахова в С.-Петербурге, (князь был женат на родной сестре Африкана Харитине). Содержатель пансиона Ефим Семеныч Акимов был чрезвычайно религиозный человек и умел восприимчивым натурам передать свою религиозность. Это была третья воспламеняющая искра для таившегося пламени. И герой нашего рассказа начал редко посещать классы, а если и посещал, то сидел, бывало, молча в очках своих (он был близорук); смотрит он как-то неопределенно, как будто куда-то вдаль, повидимому ничего не замечает вокруг себя, ничего не слышит, не видит, что давало повод его товарищам говорить: „Шпир наверно не выдержит экзамена, так как совсем не занимается, а ходит только по церквам, то в заутреню, обедню, на всенощную и т. д." Когда я забежал к нему на квартиру, чтобы докурить, то почти всегда заставал его обложенным кругом бесчисленными томами книг духовного содержания, или лежащим на полу и слушающим народные сказки старика-дядьки. Этот дядька говорил мне, что его питомец строжайше соблюдает посты и часто спит на полу, положивши под голову вместо подушки свои заветные книги, поглощающие его душу и сердце. Конечно, такая жизнь подавала повод его товарищам смеяться над ним и опять же называть его „чудаком", на что он конечно не обращал никакого внимания. Товарищи ошиблись в своем предположении: он первым, блестяще выдержал экзамен по всем предметам.

Здесь я позволяю себе сделать маленькое отступление от последовательного рассказа и возвратиться снова к детству Африкана Александровича. Воспитывавшись в пансионе у француза в городе Одессе, он имел несчастье, как и многие из детей пансионеров, подвергнуться детскому пороку, от которого, как он мне говорил уже в юности своей, ему очень трудно было отделаться и за который он впоследствии поплатился очень дорого своим здоровьем. Не помню, в каком возрасте своего детства он рассказывал мне, что почему-то получил страсть „подкрадывать" у матери такие вещи, в которых бы ему вовсе не отказали. Будучи взрослым, вспоминая об этом, он

говорил мне: „сам не знаю на что, возьму какую-нибудь вещь и спрячу". Но к счастью этот второй порок мать заметила и выпорола его розгами. „С тех пор я перестал это делать", - говорил Африкан Александрович. Кстати здесь я упомяну, что он имел как в детстве, так и в юности прекрасный музыкальный слух и память. Довольно ему было раз услышать какой-нибудь мотив, и он надосуге просвистит его правильно (петь не любил, хотя пел правильно). Водки не пил никогда, говорил „не могу". Пьяным никогда не напивался, но любил выпить рюмку-две хорошего вина и выкурить хорошую папиросу, или сигару.

Теперь возвратимся к гардемаринской школе. И там, как я уже говорил, товарищи считали его чудачком и были вполне уверены, что он в мичманы экзамена никогда не выдержит, так как он никогда не занимался, а постоянно читал книги постороннего содержания, а больше всего духовного. Соберутся товарищи и говорят Шпирю: „служи всенощную". Он не отказывается: надевают на него с хохотом вместо риз одеяло, прицепливают к пустой чернильнице веревочку вместо кадила, дают ему в руки. Шпир серьезно, с благоговением становится перед иконами и начинает служение. Хор сначала смеясь ему отвечает, но мало помалу смех исчезает, и хор в свою очередь проникается таким же благоговением. Один из товарищей, стоявших к нему ближе других, сказал ему: „зачем ты постоянно читаешь эту чепуху? Вот на тебе на французском языке сочинения Вольтера. Когда ты прочитаешь, то сам увидишь, что ты во многом заблуждаешься". Как мы увидим впоследствии, это был один из важных переворотов в его уме. Впоследствии Африкан Александрович говорил мне: „я близок был к помешательству, но сочинения Вольтера спасли меня". Загоралась Крымская война, и гардемаринны были посланы на театр войны, и Африкан Александрович в числе их, где он и пробыл два года. До окончания войны гардемаринны были отосланы обратно в Николаев, он выдержал первым экзамень в мичмана и, подав в отставку, поселился в имении матери своей, где в скором времени мать его и умерла. Пришлось будущему философу заниматься хозяйством еще в крепостное время, но накануне эмансипации. Сам он не хозяйничал - держал управляющего. И в очень скорое время, на удивление всем соседям, освободил крестьян от барщины и дворовых от обязательных работ, а начал вести хозяйство теми же крестьянами, но за наемную плату. Когда были избраны мировые посредники, он не замедлил наделить всех крестьян полным даровым наделом. Все соседи помещики восстали. Одни называли его бунтовщиком, другие говорили, что он от государя хочет заслужить крест за такой подвиг; поднялся содом. Но он не обращал на это никакого внимания, сидел одиноким в своем доме, редко показывался в обществе близких родных, мало сам входил в хозяйство, читал и что-то писал, что писал - Бог его знает. В этот период времени я был приглашен Африканом Александровичем для совместного жительства. Должно быть одиночество ему надоело. И Господи! что это была за жизнь! Правда, были распределены строго часы. Никто у нас не бывал и мы ни у кого. Серьезным чтением он никогда не делился. Выписывал "Основу" и Шевченка и читал мне, особенно что-нибудь смешное. Шевченко ему очень нравился. При чтении „Вусы" Стороженка, задушевно и много смеялся. Он в известные часы читает или пишет, я лежу и плюю в потолок. Женской прислуги он не держал - довольствовался одним лакеем. Как летом, так и зимой, изредка мы выходили погулять или в сад, или на ток, или на загоны - посмотреть лошадей и рогатый скот. Питались мы буквально изо дня в день борщом и котлетами. На ужин яйца в смятку, или молочная каша. В разговорах Африкан Александрович никогда не спорил, не навязывал своих мнений. Но нельзя сказать, чтобы он никогда не сердился. Иногда из-за пустяка крикнет на лакея; раз впоследствии, когда он завел старую экономку в доме, „она, - говорил он, - так меня вывела из терпения, что я ее чуть не бил". Удивительную имел способность различать людей; он насквозь видел, хороший это, или дурной человек. Начал я замечать, что друг мой худеет, бледнеет, не моется, отпустил волосы, не стрижется, вообще сделался каким-то странным. „Нет, говорю, брат! так жить нельзя!" На это он с удивлением сделал вопрос! „Как же по твоему жить?" - „Да так, как в наше время все молодые люди живут" - „Как же это?" - спросил он - „Во-первых, брось ты все эти книги! Они ни к чему хорошему не поведут! Зачитываешься - пропадешь! Покупай ружья, заводь собак, будем охотиться, ездить к соседям и принимать у себя". Представьте - послушал! Выезд к соседям заставил его поневоле быть опрятнее и начал отвлекать его от усиленных занятий, так что он начал поправляться. Купил два ружья. Возьмем ружья и идем по берегу в имение к моим родителям, или в степь. Увидим какую-нибудь дичь. „Африкан, говорю! ты ближе, бей!" Подымет ружье, прицелится и опустит. Видимо, его охота не занимала. Так и воротится, не сделав ни одного выстрела. Такая выходка чрезвычайно меня бесила. „Отчего же ты не стрелял?" Пусть себе живет!

зачем ее убивать? - Я рассказываю бывало это в качестве анекдота с жаром другим. Он улыбается. Собрались мы как-то ехать к соседям на именины, где был предмет моей любви и должен был быть пир горой. „Пойдем, говорю, на именины, там будет очень весело“. Запрягается коляска четверкою гнедых лошадей. Садимся и едем. На половине дороги заноровилась правая дышла - ни с места. Сделаем круг. Домой идет, а вперед ни шагу. Я сержусь, а он говорит: „поворачивай домой!“ "Ну что вы скажете? - говорю я. Ведь это несчастье! И что ты за человек? что не ты управляешь скотиной, а скотина тобой! я бы застрелил ее на месте и на тройке поехал!" Послушал! мучились, мучились, таки доехали. Покупая что-нибудь в лавках, иногда он и не думал торговаться, платил то, что с него спрашивали, а иногда по целым часам торговался из-за копейки. Не уступят, так и не купить. В этот период часто он в гостях, или в кругу многочисленных родных своих бывал очень любезен и весел: смеялся, рассказывал, принимал участие в играх, танцах, иногда даже, проплясывал в присядку „козачка“. Часто в обществе он сидел и будто ничего не слышал, не видел, не замечал. Придет домой, расскажет мне такие мелкие подробности разговоров, костюмов, каких я и не думал подметить. Иногда зимой мы выезжали на месяц-два в город Вознесенск, или Елисаветград. Но и в городах наша жизнь почти ничем не отличалась от деревенской: он читал, писал, я лежал по обыкновению, и только в известные часы мы гуляли, преимущественно в немногочисленных местах. В Елисаветграде во время одной из наших прогулок его обокрали. Лакей наш был немец. Пало подозрение на него. Заявлено было в часть, посадили лакея в тюрьму. На допросе он не сознавался, и на третий же день Африкан Александрович сам поехал просить, чтобы его выпустили. Любил сватать других, но сам не влюблялся. Незадолго до выезда за границу он увлеклся девичьей красотой неоднократно. Не лишним будет упомянуть еще об одном человеке, имевшем влияние на Африкана Александровича. После Крымской кампании появился в нашей местности интеллигентный старик Василий Иванович Литвинов, о котором впоследствии мы поговорим подробнее. Этот господин проживал в нашей семье несколько лет в качестве гувернера. Часто, когда соберутся гости, в том числе Африкан Александрович, пойдут богословские разговоры, в которых Литвинов всегда опровергал Троицу. Африкан Александрович, хотя в спор не вмешивался, но чрезвычайно внимательно слушал и, должно быть, в уме своем обдумывал этот вопрос, потому что, приехавши домой, часто со мной разговаривал об этом, но не находил сочувствия. Наконец Африкан Александрович под предлогом слабого здоровья, не доверяя нашим врачам, решил уехать лечиться за границу. Там он побывал в Германии, Австрии, Швеции, Париже и в Лондоне. Избрал место жительства в Штутгарте. Впоследствии он говорил мне, что слушал лекции в 2 университетах, но в каких и по каким предметам - не знаю, и беседовал с разными профессорами. Через год он возвратился в Россию, но в деревне уже не жил, а прожил одну зиму в Елисаветграде, другую в г. Николаеве. Вел жизнь такую же, как и до выезда за границу, но еще усиленнее начал читать и писать, сделался опрятен даже до щепетильности. Хотя держал слугу, но сам чистил себе платье, сам заметал, стирал пыль. По моему наблюдению он делал это для моциона. Завел токарный станок и, хотя не выходило ни одной вещи, все-таки он что-то делал. Имел он 2 имения. И вот с горячностью поспешностию он задумал их продать и выехать за границу. Говорил так: „надо урезать полы и бежать“. И действительно, урезал полы - продал имения за полцены. Продав одно из имений и получил за него задаточные деньги, совершив запродажную запись, он уехал за границу, После чего уже не возвращался. Получить остальную часть денег и совершить купчую крепость он поручил по доверенности мне. Покупатель в назначенный срок купчей не совершил, вследствие чего лишился права оставить имение за собой, а задаток должен был остаться у Шпира, о чем, конечно, я незамедлил известить его. На это я получил неожиданный ответ, читая который я сам себе не верил: "раз я продал имение, если покупатель сам не отказывается уплатить мне остальные деньги, то имение должно остаться за ним". Хотя он вел со мной постоянную переписку все время своего пребывания за границей, интересовался участием родных, политическим и внутренним экономическим положением России, но сам мне, кроме как о своем здоровье и о погоде, ничего не писал. Раз впрочем на мой вопрос: знаком ли ты в Женеве с русскими социалистами и нигилистами? он ответил мне: „здесь их много, но я с ними знакомства не веду, мне эти люди не нравятся". За несколько лет до смерти он подал прошение на Высочайшее имя об увольнении его из русского подданства, что ему и было разрешено. Долго я не подозревал, что мой друг не только пишет философские сочинения, но что они уже изданы в Германии, читаются публикой, и немецкие газеты восхваляют эти сочинения русского философа. Как вдруг совершенно неожиданно получаю от родного брата своего, жившего в это время на о-ве Мадейре, вырезку из одной

немецкой газеты, где с похвалой отзываются о сочинениях русского философа А. Шпира. Эту вырезку в письме я отправил Шпиру и просил его: если эти сочинения принадлежат ему, то чтобы он выслал их мне, так как я желал знать мысли близкого мне человека. Он не замедлил выслать мне две книги.

Одна довольно объемистая под заглавием „Бог и природа". Другая, небольшая, под заглавием „Мысль и действительность". Но увы, не зная сам немецкого языка и не имея знакомых, кто бы мне мог их перевести, я отдал их в библиотеку Елисаветградского реального училища, где, по всей вероятности, они лежат под спудом и никого не интересуют. Чтобы закончить свой рассказ, прибавлю еще кое-что к характеристике покойного. Когда он возвратился после первого своего путешествия за границу, в Россию, он привез с собою в двух больших сундуках библиотеку на иностранных языках, которую, выезжая окончательно за границу, он пожертвовал в пользу воскресной школы. Но школа в скором времени была закрыта. Тогда он написал, что дарит ее одной из родственниц. Брат этой родственницы служил тогда в Петербурге, забрал библиотеку с собою и продал там ее за две тысячи рублей. Не зная греческого языка, он брал в Елисаветграде уроки этого языка у пастора лютеранской церкви. Другими же языками, как-то: латинским, французским, немецким, польским, он владел хорошо. Иногда говаривал, „как жаль, что я не получил высшего образования, а то теперь доучиваться мне самому трудно". Всегда у него на письменном столе стояло два бюста: Шевченка и Гоголя. Не любил покойник носить никаких драгоценных украшений, как-то цепочки, колец. Сошьет, бывало, одно платье и не снимает его, пока совсем не износится. Тогда только сошьет другое и снимает старое. Садился иногда играть в карты, имел шахматы и любил играть. Часто помогал бедным родным, никогда не отказывал бедному, который попросит. Когда он давал иногда деньги мне, и я говорил, что мне совестно брать их, он отвечал: „отчего же? нет ничего худого, если часть денег перейдет от того, кто их больше имеет, к тому, кто их имеет меньше, или совсем не имеет".

Странным мне всегда казалось и теперь кажется, что такой человек, как Шпир, никогда не имел ни к кому и ни к чему особенной любви, или привязанности. Не помню я, чтобы он когда-нибудь чему-либо удивлялся, или чем-либо поражался. В жизни его я помню только три ссоры, в которых он, конечно, не был виноват. Одна из этих ссор была с двоюродным братом (уже умершим), который, будучи как-то у Шпира в гостях, бушевал и нарывался на драку. Шпир велел запречь лошадей, связать бушевавшего и отправить его домой. Связанный помещик, когда пришел в себя, считая себя оскорбленным, грозил Шпиру отомстить и вызвать его на дуэль. Таким образом завязалась ссора на всегда. Шпир никогда не сердился, но шутя написал ему в юмористическо-сатирическом тоне на славянском языке акафист, в котором кто только читал, узнавал виновника. В акафисте значилось „радуйся осле преподобный". Сверх того сочинил песню, которую бывало мы пели хором, в котором участвовал и сам Шпир, поя с увлечением. Из этой длинной песни я помню только два куплета:

Уж как ехал Мирмидон,
Света утешенье,
Ехал прямо в желтый дом,
Чая исцеленья.
Ай люли, ай люди!
Мирмидоша, не шали!

* * *

Он на лебеде верхом
В роде Еруслана,
А громада вся следом
Провожала пана
Ай люли и т. д.

В каком-то энциклопедическом словаре Шпир нашел, что Мирмидон был пустой, но надменный человек. Лебедь был любимый конь, на котором ездил Мирмидон. О жизни Шпира за границей

обещает написать его дочь (живущая в Штутгарте) Елена Африкановна Шпир, приводящая в порядок посмертные сочинения своего отца.

Сообщил Н. А. Пулевич.
По оттиску из журнала "Киевская Старина". - К., 1895.